

посмеяться; женщины же, что были постарше и, значит, подольше стояли в цехе рядом с Катериной, озадаченно поглядывали на бледную растерянную подругу. Они, кажется, ей сочувствовали. Больная, чего с нее спросишь, пусть домой идет. И не пойдет, а поедет: она за городом живет, надо, значит, на машине отправить. Для почетного человека не грех и машину с начальства требовать.

Услышав разговор о машине, Катерина даже руками замахала.

— Нет-нет! — сипло сказала она. — Я далеко живу. Машины туда не ходят. Нет, нет, на поезде я...

Она глянула из-под тонких сросшихся бровей на женщин, плотно ее окруживших, губы у нее зашевелились — она, может, и сказала бы о чем-то трудном, но губастая Степанида, ее напарница, решительно взяла Катерину за руку:

— Пойдем уж, чего там, вовсе больная!

Тут как раз кончился обеденный перерыв. Обе клепальщицы, провожаемые десятками взглядов, медленно вышли из цеха. Аполлинарии ничего не оставалось, как последовать за ними. Когда все трое миновали последний пролет цеха и ступили во двор, Ядринцева вдруг услышала сдержанный шепот Клочковой:

— Что теперь делать будешь?

Катерина промолчала, а Ядринцева остановилась на месте, окончательно онемевшая. Потом, высоко подняв плечи, словно во внезапном ознобе, зашагала к каменному особняку заводоуправления. На носатом лице ее не осталось и следа обычного холодновато-делового выражения, оно пылало багровыми пятнами, а маленький ротик, странно не соответствовавший крупным чертам лица, был озабоченно поджат.

Так, взволнованная, рдея старческим румянцем, она и вступила в скромный кабинет секретаря заводского парткома Василия Ивановича Пахомова.

Василий Иванович говорил с кем-то по телефону, он молча кивнул Ядринцевой и глазами показал на стул: садись и обожди.

Аполлинария присела на кончик скрипучего стула с такой осторожностью, словно он мог под ней подломиться, и принялась нетерпеливо наблюдать, как Пахомов рассеянно вычерчивает на чистой странице блокнота какие-то закорючки и треугольники, то и дело повертывая карандаш в тонких, как бы прозрачных пальцах. Болезненная прозрачность была приметна и в его широковатом спокойном сероглазом лице. Ядринцева знала, что Пахомов, военный летчик, был в конце войны тяжело ранен и чудом выжил, лишившись восьми ребер...

— Надо разобраться,— коротко заключил Пахомов разговор по телефону.

Он положил трубку и карандаш, показывая, что готов слушать.

Раздражение и тревога председателя цехкома на первых порах его как будто не затронули. Он только заметил:

— Твоя выдвиженка.

Ядринцева нашла в себе силы молча кивнуть головой.

Пахомов снова взялся за карандаш.

— А ты знаешь Лаврову?— спросил он, принимаясь за свои треугольники.

— Ну конечно,— с легким возмущением ответила председательша: ей ли не знать старых работниц!— Стоит на клепке с тысяча девятьсот сорок второго года.

Заняла место мужа. Когда мужа убили, осталась на заводе. Выполняет норму на сто, сто десять процентов.

Пахомов подождал, что еще прибавит Ядринцева, но та следила за его карандашом и молчала.

Что ж тут говорить? Клепка — один из самых тяжелых участков на заводе, и выполнить норму здесь не так-то просто. А в 1942 году клепка шла еще вручную, секретарь парткома знает все это и без нее.

— Анкетные данные,— негромко произнес Пахомов и усмехнулся.— Я не о том спрашиваю.

— Второй муж у нее тоже фронтовик. Шофером работает,— сказала Ядринцева и прибавила не очень уверенно: — Кажется, выпивает... в цехе говорили.

— Фронтовик, выпивает... Маловато знаешь о Лавровой,— в голосе Василия Ивановича отчетливо прозвучала нотка упрека.

Аполлинурия пожала плечами, правда с некоторой нерешительностью. Перед нею встало лицо Лавровой, каким оно было там, на митинге,— красивое, но до того сумрачное и замкнутое, что средце у председательши неприятно екнуло: «Кажется, влипла я с этой чертовой бабой! Кто знает... а вдруг она пьет вместе с мужем?»

— Ну что же,— проговорил Пахомов со своей непонятно-спокойной усмешкой.— Посчитаем Лаврову больной. Причина уважительная. Список награжденных большой, и вызывать в Кремль будут еще не раз. Значит, время у тебя, товарищ Ядринцева, есть.

Аполлинурия вопросительно на него взглянула.

— Если Лаврова не выйдет завтра на работу, езжай к ней домой,— посоветовал или, скорее, предложил он.— Побеседовать с человеком надо.

— Хорошо,— послушно отозвалась Ядринцева.—
Поеду.

— Ты помягче там,— сказал на прощанье Пахомов.

Выйдя за дверь, Ядринцева решила не ждать следующего дня, а отправиться к Лавровой немедленно.

Твердым шагом проследовала она в отдел кадров, взяла адрес Лавровой и даже домой не зашла, а, добравшись до одного из дальних столичных вокзалов, села в вагон электрички: ехать предстояло целый час!

Волнения и тревоги Аполлинарии по поводу необычного «дела» Лавровой мало-помалу сменились раздражением. Какой нелепый, какой дикий случай! Что за причина у Лавровой так «пугаться» ордена? И надо же было ей, председателю цехкома, впутаться с этой кандидатурой при составлении списка — нет бы промолчать, никто ведь не тянул за язык! Никому и в голову не пришло назвать Лаврову: подумаешь, выполняет норму, заменила мужа! Не одна она такая даже среди клепальщиц — разве только стаж у нее побольше...

Электричка то и дело останавливалась, коротко свистела и ползла дальше. Когда объявили нужную Ядринцевой остановку, вагон почти опустел. На улице встретили ее густые, сизые морозные сумерки: март нынче стоял суровый.

Узкая тропка довольно скоро привела озабоченную Аполлинарию на коротенькую улицу. Домик Лавровой стоял на отшибе, последним, и был темен. Ядринцева все-таки постучала в дощатую дверь. От стука дверь широко растворилась, и Аполлинария неуверенно ступила в чернильно-темные сени, пахнувшие сырыми дровами.

Ей удалось нащупать скобу второй, обшитой дерюгой двери, но дальше порога она не двинулась: в темноте слабо синели окна, лишённые каких-либо занавесок, и где-то в углу слышался залиvistый храп, кажется мужской.

Ядринцева поспешно вышла на улицу, в полном недоумении постояла у крыльца — где же, в самом деле, Лаврова? — и зашагала на огонек соседнего дома.

Оттуда она вышла через полчаса с поджатыми губами, вся в багровых пятнах. С первого же слова соседи сказали ей, что Катерина Лаврова вот уже лет десять как стала сектанткой, истовой и усердной баптисткой.

— В молельне ищите ее, теперь там она, в Москве,— не без ядовитой усмешки прибавила словоохотливая соседка.— А храпит это ее муженек: поди, в ночную смену идет или выпил.— Она подумала и прибавила:— Была у нее дочка, да поездом задавило. Давно уж это случилось. Живут, как на постоялом дворе, с мужем-то, всяк в свою сторону глядит. Это второй у нее.

Ядринцева пробормотала почти неслышно:

— Знаю.

С трудом выдержала она обратную дорогу, хотя попала в состав с сокращенными стоянками,— поезд пролетал станции, то и дело надрывно свистя. «Скорее, скорее»,— мысленно повторяла Ядринцева. Какую новость везла она на завод, в цех, к Пахомову! Уж лучше бы Лаврова и в самом деле выпивала с мужем: все-таки это куда обыкновеннее, проще. А то — сектантское изуверство... Что же, что теперь делать ей, Ядринцевой, рекомендательнице?

И постепенно она пришла к единственно возможному, как ей казалось, решению: ответить за все, сполна ответить, как положено коммунисту.

Но такой тяжкий груз невозможно было приволочь домой, в одинокую комнату, где не с кем и словом перемолвиться. Поэтому она отправилась на завод и почти бегом пробежала по двору, еще издали увидев, что окна в парткоме освещены.

Пахомов сидел один над полуисписанным и густо перечерканным листком бумаги. Он поднял голову на звук открываемой двери, на усталом лице его изобразилось изумление: в такой час Ядринцева, аккуратная служака, никогда — если не было собраний или заседаний — не появлялась на заводе. К тому же она была непохожа на себя: носатое, немного птичье лицо ее посерело, губы пересохли и стали вовсе бесцветными, под глазами набухли вялые мешочки.

— Привезла тебе новость о Лавровой,— чуть не с порога сказала она.

— О Лавровой?

За долгий день, наполненный различными хлопотами, Василий Иванович успел забыть, кто такая Лаврова. Впрочем, сейчас же спохватился:

— А-а, это награжденная... Ты ведь хотела завтра навестить?

— Уже навестила,— почти срываясь в крик, проговорила Ядринцева.— И знаешь, кто она оказалась? Сектантка.

— Кто? — не понял Пахомов.

Ядринцева необычным для нее грубым голосом, в котором слышались злость и отчаяние, повторила:

— Баптистка крещеная, вот кто. Святоша.

— Это точно? — помолчав, спросил Василий Иванович.

— Куда точнее. Соседи сказали. Вот уже лет десять.

— Не знаешь людей, товарищ Ядринцева,— тихо заметил Василий Иванович, и Аполлинару послышалось: «Не знаешь, а рекомендуешь».

— Можешь ставить вопрос на парткоме,— сказала она и с холодной решимостью добавила:— Отвечу, как положено коммунисту.

Скуластое лицо Пахомова дрогнуло и от висков стало заливаться розовым болезненным румянцем.

— Дело ведь не в том, что она верующая. По существу надо судить: заслуживает ордена как производственница или не заслуживает? Не о себе, товарищ Ядринцева, думать надо. Пожалуй, это и лучше, что вы не встретились.

Ядринцева сделала слабое движение протеста. Но Пахомов словно ничего не заметил.

— Святоша, говоришь? А еще что соседи рассказывают?

Аполлинурия пожала плечами.

— Муж действительно у нее пьет... Дочь, говорят, была... ее поездом задавило.

— Когда? — быстро спросил Пахомов.

Ядринцева только тут сообразила, что не догадалась спросить, когда это случилось, и не очень твердо ответила:

— Уже давно.— И, подумав, прибавила более уверенным тоном:— Во всяком случае, еще до меня, я бы помнила. Ну и до тебя, конечно.

— Опять ты да я. А ты,— он подчеркнул это слово,— ты не связала гибель ребенка и сектантство Лавровой?

— Как то есть «связала»? Откуда же я...

— Ну хорошо. Баптисты, говоришь?— Пахомов крепко

потер шишковатый лоб и непонятно закончил: — Саргассово море.

— Что такое? — растерянно и даже с обидой спросила Аполлинария.

— Есть, товарищ Ядринцева, такое море: Саргассово. В Атлантике оно, у берегов Флориды. Там в сплошных водорослях — саргассах даже большим кораблям туго приходилось когда-то. Ну, скажем, во времена парусного флота.

— А-а,— протянула Ядринцева и уже окончательно разобиделась: малый она корабль, старый, раз запуталась в каких-то водорослях...

— Ну хорошо,— повторил Пахомов и решительно стукнул по столу ребром ладони.— Займусь Лавровой сам.

От него не ускользнуло, что Ядринцева вздохнула с облегчением.

— Ты помолчи пока насчет секты,— строго наказал он.— Я немного подготовлюсь и позову Лаврову к себе. А ты ступай... отдыхай. Вот тебе и сто пять процентов нормы,— прибавил он и невесело усмехнулся.



Катерина Лаврова действительно была сектанткой, баптисткой, «сестрой во Христе».

Завод давал Катерине верный кусок хлеба, руки делали привычное дело, душою же она жила особой, отдельной от цеха и от завода жизнью, куда более богатой — так она считала,— нежели жизнь неверующего. Если смены не мешали, она ходила на каждое собрание

секты, три раза в неделю, а день без моления считала пустым и прожитым зря.

Никто не мешал Лавровой вести такую жизнь. На заводе знали, что она загородница и всегда спешит уехать «до хаты», а дома ждал ее только муж, давно уже считавший, что она отбилась от рук. Катерина же так понимала, что отбилась она от земной, мелкой суеты, ничтожной перед вечностью, которая ожидает бессмертную душу в чертогах божиих.

Неожиданное награждение не обрадовало, а скорее напугало ее.

Первой мыслью было: ошибка это, не могут, не должны ее награждать.

«Люди, зачем вы меня трогаете? — едва не закричала она. — Мои награды — там, у господ!..»

Но сквозь потрясенность, сквозь испуг она успела заметить, что работницы, окружившие ее, были рады за нее. «Ишь расшумелись... вас касается, — с неприязненным удивлением думала она, пряча глаза. — Вот узнаете... тогда чего запоете... Я же не напращивалась...»

Она не умела обманывать, да и вера запрещала прибегать ко лжи. Когда же нельзя было сказать правды, упорно молчала. Промолчала она и на митинге. Но нестерпимо было даже подумать о том, чтобы идти в Кремль за этим ненужным, суетным награждением.

Когда Степанида простилась с ней у заводских ворот, Катерина не на вокзал заспешила, а в молитвенный дом. Только там, среди «братьев и сестер», могла как-то разрешиться ее мука...

Но, проделав длинный путь по городу и добравшись наконец до знакомого переулка, она еще издали поняла,

что опоздала: молитвенный дом — старый реформатский храм — был наглухо заперт. Она все-таки поднялась на крыльцо и постояла возле темных дверей.

Что сказали бы ей «братья и сестры»?

Наверное бы сказали: получай орден, если заработала, но ты-то ведь знаешь, где и какая награда тебя ожидает!

Но как же с совестью быть? Ведь если б те, заводские, знали, что Катерина сектантка, никакой бы награды ей не вышло. Положим, не к чему ей всем и каждому объявлять о своей вере, положим, никто из неверующих не может считать веру преступлением. Но все-таки получается какой-то обман. Обман, в котором она виновата и не виновата...

Сейчас Катерина испытывала такую жажду утешения, что невольно ждала чуда: вдруг зашкрипят, отворятся заветные двери и... Но нет, двери не отворились, и она медленно зашагала по переулку, не теряя надежды встретить кого-нибудь из «братьев и сестер».

Встретился ей один только пьяный человек, едва не сбивший ее с ног, а привычная дорога в электричке на этот раз далась с трудом и мукой. Все ее раздражало — и шум, и многолюдье, и суетные разговоры... Потом, когда шла от станции до дому, неверные ноги дважды занесли ее в какие-то ямины, где она по колено увязла в ноздреватом мартовском снегу.

Дом, как она и ожидала, встретил ее глухим молчанием. Муж Василий ушел в ночную смену. Она кое-как прибралась, вытащила из теплой печи горшок с вареным картофелем, поужинала и, торопливо раздевшись, погасила свет.

И как только легла, как только перестала двигаться в